

Песнь I

[1] Дай бог, чтобы читатель, в ком эти песни разбудят дерзость, в чьей груди хоть на миг вспыхнет бушующее в них пламя зла, — дай бог, чтоб он не заблудился в погибельной трясине мрачных, сочащихся ядом страниц, чтоб смог он найти неторную, извилистую тропу сквозь дебри; ибо чтение сей книги требует постоянного напряжения ума, вооруженного суровой логикой вкупе с трезвым сомнением, иначе смертоносные испарения пропитают душу, как вода пропитывает кусок сахара. Не каждому такое доступно, лишь избранным дано вкусить сей горький плод и не погибнуть. А потому, о слабая душа, остановись и не пытайся проникнуть дальше, в глубь неизведанных земель; не вперед, а вспять направь свои стопы. Ты слышишь, не вперед, а вспять, подобно тому как почтительный сын отвращает глаза от сияющего добродетелью лица матери, или, вернее, подобно длинному клину теплолюбивых и благоразумных журавлей, когда с наступлением холодов летят они в тишине поднебесья, расправив могучие крылья, держась известного им направления, и вдруг навстречу им задует

резкий ветер, предвестник бури. Старейший, летящий во главе всей стаи журавль встревоженно качает головой, а стало быть, и клювом тоже, и недовольно им трещит (еще бы, на его месте я тоже был бы недоволен), а между тем порывы ветра злобно треплют облезлую его выю, пережившую целых три журавлиных поколения, — гроза все ближе. И тогда, неспешно и тщательно обозрев горизонт своим многоопытным оком, вожак (он и никто другой облечен правом являть свой хвост взорам всех летящих позади и уступающих ему в мудрости птиц) издает унылый предостерегающий крик, как страж, отпугивающий злоумышленника, и плавно отклоняет вершину летучей геометрической фигуры (возможно, это треугольник, образуемый в пространстве занятыми перелетными птицами, но третьей стороны не видно ^[1]), вправо или влево — так опытный шкипер меняет галс, — и, поворачивая крылья, что кажутся с земли не больше воробьиных, с философическим смирением ложится на другой, безопасный курс.

[2] Ты, верно, ждешь, читатель, чтоб я на первых же страницах попотчевал тебя изрядной порцией ненависти? — будь спокоен, ты ее получишь, ты в полной мере усладишь свое обоняние кровавыми ее испарениями, разлитыми в бархатном мраке; твои благородные тонкие ноздри затрепещут от вожделения, и ты опрокинешься навзничь, как алчная акула, едва ли создавая сам всю знаменательность своих деяний

и этого вдруг пробудившегося в тебе голодного естества. Обещаю, две жадных дырки на гнусной твоей роже, уродина, будут удовлетворены сполна, если только ты не поленишься три тысячи раз подряд вдохнуть зловоние нечистой совести Всевышнего! На свете нет ничего, столь благоуханного, так что твой нос-гурман, вкусив сей аромат, замрет в немом экстазе, как ангелы на благодатных небесах.

[3] Теперь скажу несколько слов о том, как добр был Мальдорор ^[2] в первые, безоблачные годы своей жизни — вот эти слова уже и сказаны. Но вскоре он заметил, что по некой фатальной прихоти судьбы был создан злым. Долгие годы в меру сил скрывал он свою натуру, но это длительное, неестественное напряжение привело к тому, что ему стала каждый день бешено бросаться в голову кровь, так что наконец, не выдержав муки, он всецело предался злу... и задышал полной грудью в родной стихии! Подумать страшно: всякий раз, как Мальдорор касался губами свежих щечек ребенка, он испытывал желание исполосовать их острой бритвой, и он охотно сделал бы это, не останавливай его Правосудие с его грозным арсеналом наказаний. Но он не лицемерил, он прямо говорил, что жесток. Вняли ль вы его словам, о люди? Вот теперь он повторяет свое признание на бумаге, и перо дрожит в его руке! Увы, есть сила помощнее воли... Черт побери! Что бы вы сказали, если б камень вздумал вдруг противиться закону тяготенья?

Ах, это невозможно? Но так же невозможно злужить в ладу с добром, хотя б оно того и пожелало. К тому я и клоню.

[4] Иные пишут для того, чтобы заставить публику рукоплескать своей добродетели, напускной или подлинной. Я же посвящаю свой талант живописанью наслаждений, которые приносит зло. Они не мимолетны, не надуманны, они родились вместе с человеком и вместе с ним умрут. Или благое Провиденье не допустит, чтобы талант служил злу? Или злодей не может быть талантлив? Мое творение покажет, так ли это, а вы судите сами, была бы охота слушать... Погодите, у меня, кажется, встали дыбом волосы, ну, да это пустяки, я пригладил их рукой, и они послушно улеглись. Так вот, каватины, которые певец исполнит перед вами, не новы, но то и ценно в них, что все надменные и злобные мысли моего героя каждый обнаружит в себе самом.

[5] Я насмотрелся на людей, и все они, все до единого, тщедушны и жалки, все только и делают, что вытворяют одну нелепость за другой да старательно развращают и отупляют себе подобных. И говорят, что все это — ради славы. Глядя на эту комедию, я хотел рассмеяться, как смеются другие, но несмотря на все старания, не смог — получалась лишь вымученная гримаса. Тогда я взял острый нож и надрезал себе уголки рта ^[3] с обеих сторон. Я было думал, что достиг желаемого. И, подойдя к зеркалу, смотрел

на изуродованный моею же рукою рот. Но нет! Кровь так хлестала из ран, что поначалу было вообще ничего не разглядеть. Когда же я взгляделся хорошенько, то понял, что моя улыбка вовсе не похожа на человеческую, иначе говоря, засмеяться мне так и не удалось.

Я насмотрелся на людей, жуткорожих, с запавшими глазами, они бесчувственнее скал, тверже литой стали, злобнее акулы, наглее юнца, неистовей безумного убийцы, коварнее предателя, притворней лицедея, упорнее священника; нет никого на свете, кто был бы столь же скрытен и холоден, как эти существа, им нипочем ни обличенья моралистов, ни справедливый гнев небес! Я насмотрелся на таких, что грозят небудюжим кулаком — так угрожает собственной матери испорченный ребенок, — верно, злой дух подстрекает их, жгучий стыд превратился в ненависть, которою горит их взор, они угрюмо молчат, не смея выговорить вслух своих святотатственных мыслей, полных яда и черной злобы, а милосердный Бог глядит на них и сокрушается. Насмотрелся и на таких, которые с рождения до смерти, каждый день и час, изощряются в страшных проклятиях всему живому, себе самим и своему Создателю, которые растлевают женщин и детей, бесстыдно оскверняя обитель целомудрия. Пусть вознегодует океан и поглотит разом все корабли, пусть смерчи и землетрясения снесут дома, пусть нагрянет мор, глад, чума и истребит целые семьи, невзирая на мольбы несчастных жертв. Люди этого и не заметят. Я на-

смотрелся на людей, но чтобы кто-нибудь из них краснел или бледнел, стыдясь своих деяний на земле, — такое доводилось видеть очень редко. О вы, бури и ураганы, ты, блеклый небосвод — не пойму, в чем твоя хваленая красота! — ты, лицемерное море — подобие моей души, — о вы, таинственные земные недра, вы, небесные духи, и ты, необъятная вселенная, и ты, Боже, щедрый творец ее, к тебе взываю: покажи мне хоть одного праведного человека!.. Но только прежде приумножь мои силы, не то я могу не выдержать и умереть, узрев такое диво — случается, еще и не от такого умирают.

[6] Две недели надо отращивать ногти. А затем — о сладкий миг! — схватить и вырвать из постели мальчика, у которого еще не пробился пушок над верхней губой, и, пожирая его глазами, сделать вид, будто хочешь откинуть назад его прекрасные волосы и погладить его лоб! И наконец, когда он совсем не ждет, вонзить длинные ногти в его нежную грудь¹⁴, но так, чтобы он не умер, иначе как потом насладиться его муками? Из раны потечет кровь, ее так приятно слизывать, еще и еще раз, а мальчик все это время — пусть бы оно длилось вечно! — будет плакать. Нет ничего лучше этой горячей крови, добытой так, как я сказал, — ничего, кроме разве что его же горько-соленых слез. Да разве тебе самому не случилось попробовать собственной крови, ну хотя бы лизнуть ненароком порезанный палец? Она так хороша, не правда ль, поскольку не имеет вкуса.

Теперь припомни, как однажды, когда тебя одолевали тягостные мысли, ты спрятал скорбное, мокрое от текущей из глаз влаги лицо в раскрытой ладони, а затем невольно поднес эту ладонь, эту чашу, трясущуюся, как бедный школьник, что затравленно смотрит на своего бессменного тирана, — ко рту, поднес и жадно выпил слезы? Они так хороши, не правда ли, остры, как уксус. Как будто слезы самой любящей из женщин; и все же детские слезы еще приятней на вкус. Ребенок не предаст, ибо не ведает зла, а женщина, пусть и любящая, предаст непременно (я сужу, опираясь на логику вещей, потому что сам не испытал ни любви, ни дружбы, да, верно, никогда и не принял бы ни того, ни другого, по крайней мере от людей). Так вот, если собственные кровь и слезы тебе не претят, то отведай, отведай без опаски крови отрока. На то время, пока ты будешь терзать его трепещущую плоть, завяжи ему глаза, когда же вдоволь натешись криками, похожими на судорожный хрип, что вырывается из глотки смертельно раненных на поле брани, тогда мгновенно отстранись, отбеги в другую комнату и так же шумно ворвись обратно, как будто лишь сию минуту явился ему на помощь. Развяжи его отекающие руки, сними повязку с его смятенных глаз и снова слизни его кровь и его слезы. Какое непритворное раскаяние охватит тебя! Божественная искра, таящаяся в каждом смертном, но оживающая так редко, вдруг ярко вспыхнет — увы, слишком поздно! Растрогается сердце и изольет потоки сострадания на невинно

обиженного отрока: «О бедное дитя! Терпеть такие жестокие муки! Кто мог учинить над тобою неслыханное это преступление, какому даже нет названья! Тебе, наверно, больно! О, как мне жаль тебя! Родная мать не ужаснулась бы больше, чем я, и не вспылала бы большей ненавистью к твоим обидчикам. Увы! Что такое добро и что такое зло! Быть может, это проявления одной и той же неутолимой страсти к совершенству, которого мы пытаемся достичь любой ценой, не отвергая даже самых безумных средств, и каждая попытка заканчивается, к нашей ярости, признанием собственного бессилия. Или все-таки это вещи разные? Нет... меня куда больше устраивает соприродность, иначе что станется со мною, когда пробьет час последнего суда! Прости меня, дитя, вот пред твоими чистыми, безгрешными очами стоит тот, кто ломал тебе кости и сдирал кожу — она так и висит на тебе лохмотьями. Бред ли больного рассудка или некий неподвластный воле глухой инстинкт, — такой же, как у раздрающего клювом добычу орла, толкнули меня на это злодеянье, — не знаю, но только я и сам страдал не меньше того, кого мучил! Прости, прости меня, дитя! Я бы хотел, чтобы, окончив срок земной жизни, мы с тобою, соединив уста с устами и слившись воедино, пребывали в вечности. Но нет, тогда я не понес бы заслуженного наказания. Пусть лучше так: ногтями и зубами ты станешь разрывать мне плоть — и эта пытка будет длиться вечно. А я для совершения сей искупительной жертвы украшу свое тело благоуханными гир-

ляндами; мы будем страдать вместе: я от боли, ты — от жалости ко мне. О светлокудрый отрок с кротким взором, поступишь ли так, как я сказал? Ты не хочешь, я знаю, но сделай это для облегчения моей совести». И вот, когда закончишь эту речь, получится, что ты не только надругался над человеком, но и заставил его проникнуться к тебе любовью — а слаще этого нет ничего на свете. Что же до мальчугана, ты можешь поместить его в больницу — ведь ему, калеке, не на что будет жить. И все еще станут превозносить твою доброту, а когда ты умрешь, к ногам твоей босоногой статуи со старческим лицом свалят целую кучу лавровых венков и золотых медалей. О ты, чье имя не хочу упоминать на этих, посвященных праведности злодеяния, страницах, я знаю, что до сих пор твое всепрощающее милосердие было безгранично, как вселенная. Но ты еще не знал меня!

[7] Я заключил союз с проституцией, чтобы сеять раздор в семьях. Помню ночь, когда свершился сей пагубный сговор. Я стоял над некой могилой. И услышал голос огромного, как башня, сияющего в темноте червя: «Я посвечу тебе. Прочти, что тут написано. Не я, а тот, кто всех превыше, так велит». И все вокруг залил кровавый свет, такой зловещий, что у меня застучали зубы и беспомощно повисли руки. Прислонившись, чтобы не упасть, к полуразрушенной кладбищенской стене, я прочитал: «Здесь покоится отрок, погибший от чахотки, его история

тебе известна. Не молись за него». Не у многих, верно, хватило бы духу выдержать такое. Между тем, ко мне приблизилась и упала к моим ногам прекрасная нагая женщина. «Встань», — произнес я и протянул ей руку, как брат, намеревающийся задушить сестру. И сказал мне сияющий червь: «Возьми камень и убей ее». — «За что?» — спросил я. А он: «Берегись, ты слаб, а я силен. Имя той, что простерта здесь, Проституция». И я почувствовал, как к горлу подступили слезы, и ярость захлестнула сердце, и неизведанная сила разлилась по жилам. Взявшись за огромный камень, я напряг все жилы, поднял его и водрузил себе на плечо. Затем, не выпуская камня, влез на вершину самой высокой горы и оттуда обрушил глыбу на червя и раздавил его. Так что голова его ушла в землю на человеческий рост, а глыба подскочила на высоту полдюжины церквей и вновь упала прямо в озеро, пробив в его дне исполинскую воронку, в которой в тот же миг забурилась отхлынувшая от берегов вода. Кровавый свет угас, покой и темнота воцарились на земле. «Горе тебе! Что ты сделал?» — вскричала нагая красавица. «Мне больше по душе не он, а ты, — ответил я, — ибо несчастье вызывает во мне сострадание. Не твоя вина, что Вечный Судья тебя такой создал». — «Настанет час, когда и люди воздадут мне по справедливости — вот все, что я могу сказать. Пока же дай мне удалиться, укрыть мою неутолимую печаль на дне морском. На всем свете не презираешь меня один лишь ты, да еще кошмарные чудовища, что водятся там, в мрач-

ных глубинах. Ты добр. Прощай же, единственный, кто возлюбил меня!» — «Прощай! Прощай! Я буду любить тебя вечно!.. Отныне отрекаюсь от добродетели». И потому, о люди, услышав, как студеный ветер воеет над морями и над сушей, над большими, давно скорбящими обо мне городами и над полярными пустынями, скажите: «То не Божье дыхание пролетает над землею, то тяжкий вздох Блудницы, смешавшийся со стоном уроженца Монтевидео»^[5]. Запомните это, дети мои. И преклоните в милосердии своем колена, и пусть все люди, которых больше на земле, чем вшей, воссылают к небесам молитвы.

[8] Кому хоть раз случалось провести ночь на пустынном морском берегу, тот замечал, как желтый, призрачный, туманный лунный свет причудливо преобразует весь пейзаж. Как ползут, бегут, сплетаются и замирают распластанные по земле тени деревьев. Когда-то, в далекую пору крылатой юности, эта фантазмагория пленяла меня, навевала грезы, теперь же приелась. С унылым стоном треплет листья ветер, зловещим, леденящим душу басом причитает филин. В тот час во всех дворовых псов округи вселяется безумье^[6]; одичав, сорвавшись с цепи, они несутся без оглядки прочь. Но вдруг, застыв как вкопанные, тревожно озираются по сторонам горящими глазами и, подобно слонам, что в смертный миг отчаянным усилием поднимают головы с беспомощно висящими ушами и вытягивают вверх хоботы, — собаки подни-

мают головы, с такими же беспомощно висящими ушами, вытягивают шеи и лают, лают... то как плач голодного ребенка звучит их лай, то как вопль подбитого кота на крыше, то как стенанья роженицы, то как предсмертный хрип в чумном бараке, то как божественное пенье юной девы; псы воют на звезды севера, запада, юга и востока, на луну, на горы, застывшие вдали мрачными громадами, на хладный ветер, что наполняет их грудь и обжигает красное нутро ноздрей; на ночное безмолвие, на сов, что со свистом прочерчивают во тьме дуги, едва не касаясь крыльями собачьих морд и унося в клювах лягушек и мышей, живую, лакомую пищу для птенцов; на вора, что скачет во весь опор подальше от ограбленного дома; на змей, скользящих в стеблях папоротника и заставляющих псов скалить зубы и злобно ощетиниваться; на собственный лай, что пугает их самих; на жаб, которых звучно цапают зубами (а кто велел этим тварям вылезать из болота?); на ветки, что скрывают столько тайн, непостижимых для собак, в которые они пытаются проникнуть, впиваясь умными глазами в колышущую листву; на пауков, что зацепились и повисли на их долговязых лапах или спасаются бегством, карабкаясь вверх по древесным стволам; на воронов, что маялись весь день, ища, чем поживиться, а сейчас, голодные и чуть живые, разлетаются по гнездам; на береговые скалы; на разноцветные огни, что зажигаются на мачтах невидимых судов; на ропот волн; на рыбин, что, резвясь, выпрыгивают из воды, мелькают черными горбами

и вновь уходят вглубь; и наконец на человека, который обратил их в рабство. Но вот они снова срываются с места и летят направо, кровавая лапы, через поля, овраги, вдоль дорог, по кочкам, рытвинам, по острым камням, как одержимые, как будто неумная жажда гонит их на поиски прохладного источника. Протяжный вой полнит ужасом округу. Горе запоздалому путнику! Псы, прислужники смерти, набросятся, вопьются острыми клыками, загрызут — что-то, а зубы у собак отменные! — сожрут, давясь кровавыми кусками. Даже дикие звери в страхе умчатся прочь, не смея присоединиться к жуткой трапезе. А после нескольких часов такого безумного бега псы, изнуренные, вывалив из пасти языки, в остервенении набросятся друг на друга и в мгновение ока разорвут друг друга в клочья. Но это не просто жестокость... Я помню, как однажды, глядя на меня остекленевшими глазами, матушка сказала: «Когда услышишь, лежа в постели, лай псов поблизости, накройся поплотнее одеялом и не смейся над их безумьем, ибо ими владеет неизбывная тоска по вечности, тоска, которой томимы все: и ты, и я, и все унылые и худосочные жители земли. Но это зрелище возвышает душу, и я позволяю тебе смотреть из окна». Я свято чту завет покойной матери. Меня, как этих псов, томит тоска по вечности... тоска, которой никогда не утолить! Если верить тому, что мне говорили, я — сын мужчины и женщины. Странно... Мне казалось, я не столь низкого происхождения. А впрочем, какая разница? Будь